

В ЦАРСТВЕ «БЕЛОГО ЦАРЯ»
Приоритеты поздней империи
(1880–1890-е годы)*

Татьяна Филиппова
Российский исторический журнал «Родина»,
АИРО-XX

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДЕЛЫ, ГРАНИЦЫ И РУБЕЖИ.....	4
СЛУЖЕНИЕ И СЛУЖБА	15
КРОВЬ, ПОЧВА И ОПЕКА	27
ПРИМЕЧАНИЯ.....	41

* Опубликовано в коллективной монографии «Россия: государственный приоритет и национальные интересы», – М., РОСПЭН, 1999.

Последние десятилетия XIX века – с трудом, но не без изящества – достроили «пирамиду» традиционной российской государственности, облицованную «материалом», вывозимым, по привычке, с Запада. Интересные, хотя и противоречивые черты правительственного курса тех лет, курса активного *консервативного реформаторства*, свидетельствовали об острой коллизии внутри системы тогдашних государственных приоритетов. Поощрение индустриальной модернизации и перенятие западных технологий парадоксально соседствовало с упорной заботой о «нерушимости традиционных начал» самодержавия и настойчивой проработкой «старомосковского стиля» в культурной и духовной жизни. Вместо эпитафии приведем для наглядности развернутую архитектурную «цитату».

Владимирский собор в Киеве, постройка которого завершилась к концу 80-х годов, а роспись длилась на протяжении всех 80–90-х, стал важным идеологическим и стилизаторским жестом власти, широко-масштабно отметившей 900-летие Крещения Руси и Тысячелетие России. Лучшие художники страны – и среди них Васнецов, Нестеров, Врубель – призваны были в росписи стен собора воплотить духовный смысл византийской традиции в неорусском исполнении, задавая эстетический канон искусству поздней Империи. Ещё важнее была сверхзадача, заложенная в сюжетах росписи – соотнести библейскую историю сотворения мира с созиданием российской государственности как единственной законной преемницы наследия «Второго Рима». Провокационно архаично выполненный «Шестоднев» (сравнительно редкий сюжет в традиции русской церковной росписи) долженствовал стать метафорой «царева дела» – многотрудной задачи государственного созидания России.

Символическими знаками нерушимости империи призваны были стать и храмы в византийском стиле, возводимые по периметру, очер-

тившему границы «Православного царства» – в Тифлисе (архитектор Д.И. Гримм), в Варшаве (Л.Н. Бенуа), в Гельсингфорсе (И.А. Варнек), в Риге (Р. Флуг), Кронштадте (В.А. Косяков)... Продолжением той же идеологии, воплощенной в архитектурных объемах, стал собор св. Александра Невского в Софии (проект архитектора А.Н. Померанцева) и другие русские церкви, возведенные за рубежом и выдержанные в византийском стиле, ставшем популярным и на Западе (1).

Добавим, что, вопреки профанному взгляду на Александра III как на «мужлана» и «пьяницу», и вопреки язвительным оценкам его современниками как «бегемота в эполетах» (А.Ф. Кони) или «осла всю натуру» (И.Е. Репин), император не раз проявлял себя образованным и заинтересованным знатоком искусства, поощрял развитие исторической и географической науки, открытие новых музеев и т.д.

Но то, что полноценно и талантливо удавалось в сфере искусства, культуры и эстетики, гораздо труднее оказывалось воплотить в правительственном курсе. Синтез приоритетов традиционного и «нового» во внутренней и внешней политике модернизирующейся империи оказался более, чем небесспорным и чреватым внутренней конфликтностью. Хотя многие его идеи и по сей день воспринимаются достаточно актуально и убедительно.

Коллизия новых тактик и прежней стратегии; противоречия между режимами целеполагания и целедостижения, человеческая «стоимость» ускоренного развития экономики, конфликт западных технологий с «национальной почвой» – все эти общие проблемы, до боли знакомые современному россиянину, век назад уже стояли перед страной и властью. Проект *контролируемой модернизации* (с разной степенью интуитивности и осознанности в рамках его теоретической разработки) стал приоритетным направлением социально-экономической эволюции поздней Империи. *Консервативная стабилизация* была обозначена как основной политический приоритет власти.

ПРЕДЕЛЫ, ГРАНИЦЫ И РУБЕЖИ

Особая природа Российской империи имела своим результатом любопытный феномен. Как участнику событий, так и внешнему наблюдателю зачастую было сложно различить, что для неё есть внешне-, а что – внутривластное приоритет. Наследие «Третьего Рима», прочно вписавшееся в исторический генотип власти, позволяло ей и в эпоху модернизации обосновывать имперский интерес идеалом обустройства осваиваемого пространства в духе официально санкционированного и «богоданного» порядка. Набор трактовок этого идеала был чрезвычайно разнообразен и разнороден.

По мере продвижения на восток и приближения к естественным границам евразийского пространства внешнеполитическая задача обретения и защиты «четкой» имперской границы все масштабней перерастала во внутреннюю проблему обустройства приобретенных земель. Так, стремление к хозяйственному освоению Сибири вполне закономерно перерастало в экономический империализм по отношению к Манчжурии, а близкое соприкосновение культур на пространстве империи приводило к тому, что внутренние конфликты переплетались с внешними (Кавказ, Польша, Прибалтийский край) (2).

При этом «высшим целям» экспансии всегда лучше удавалось поладить с императивом силы, чем с осознанными и рациональными целями национальной безопасности. Неудивительно поэтому и нарастание болезненной амбициозности и непродуманности внешнеполитических акций самодержавия по мере продвижения на восток, продвижения, катастрофически захлебнувшегося русско-японской войной.

Широко распространенное представление о «естественных границах» России в конце XIX века призвано было служить рациональной мотивацией давней, традиционной задачи укрепления рубежей

«Православного царства». «Если границы империи и в самом деле до какого-то момента можно было уподобить естественным, – отмечает современный исследователь, – то лишь в том смысле, в каком естественны границы реки, прокладывающей себе русло в более мягких, податливых породах и обходящей более твердые. К концу XIX века Российская империя захватила и включила в свои границы все, что смогла захватить, не наталкиваясь на непреодолимое сопротивление поглощаемых соседей или стоящих за ними держав. По мере роста империи «мягких пород» вблизи рубежей России оставалось все меньше, её продвижение замедлялось и останавливалось, и она входила в свои окончательные границы – естественные не столько в географическом или этнографическом, сколько в историческом смысле – в смысле существующего в данный момент соотношения сил на направлениях возможной экспансии» (3).

Именно такую картину иллюстрирует ситуация убывания традиционно российского, имперского (расширяющегося) импульса на фоне территориальных приобретений к концу XIX века. При отсутствии полноценных военных побед (после удачной войны с турками 1827–1830 годов) и при победах, «отобранных» у России западной дипломатией, Империя все же продолжает расти – непрерывно, но натужно. Кавказ – Туркестан – Манчжурия – Северная Персия... Чем восточней, тем бесславней удовлетворение от побед. В период, когда «екатерининские орлы» делались всё призрачней, империя становилась всё более «похожа на трирему// в канале, для триремы слишком узком.// Гребцы колотят веслами по суше, и камни сильно обдирают борт.// Нет, не сказать, что мы совсем застряли!// Движенье есть, движенье происходит!// Мы все-таки плывем. И нас никто// не обгоняет. Но, увы, как мало// похоже это на былую скорость!» (И. Бродский)

Представляется, что инерция имперского расширения в 80–90-е годы XIX столетия, расширения во многом внерационального, имела подсознательную, «превращенную» форму рациональности – задачу сохранить свой образ влиятельного субъекта мировой политики. И в этом смысле оснований для беспокойства у России было достаточно.

Последние десятилетия XIX века и начало XX в ведущих странах Запада были отмечены переходом от традиционно-династического курса на поддержание баланса сил к более активной, динамичной и технологичной стратегии в сфере мировой политики. Состоявшийся передел мира и образование замкнутой политической системы глобального масштаба стали не концом прежнего, но началом нового витка международной напряженности, поскольку «существует большая разница между попаданием снаряда в яму и попаданием его в закрытое пространство между жесткими конструкциями крупного здания или же судна» (4).

В России картина усложнялась тем, что сфера дипломатии как элитарно-аристократического занятия и династического интереса стала все более размываться прагматикой чисто экономических соображений, диктуемых потребностями капитала и постепенно формирующимся общественным мнением, прессой, и т.д.. И несмотря на то, что область внешней политики была последней, которую склонны были выпустить из рук как европейские династии, так и российская элита, все же в правительственных кругах, испытавших воздействие духа либеральных преобразований 60–70-х годов, все заметней становится прагматизм и рациональность целеполагания при осмыслении государственных приоритетов в этой области.

Это дало основание западным историкам излишне прямолинейно высказываться о том, что «во всех своих характерных чертах русский империализм подобен европейскому и американскому» (5), поскольку

«несмотря на сущностно традиционный характер русского общественного устройства, российское государство в XIX веке стало в достаточной степени вестернизированным, чтобы в военно-политическом (если не экономическом) отношении сделаться инструментом нового империализма» (6).

На практике же все оказывалось не так просто и однозначно.

Нарастающая и усугубляющаяся двойственность в природе имперской власти к концу XIX века все более проявляла себя в различии позиций внутри государственного аппарата. «Рационализм» западной ориентации и стремление упрочить свое место в рамках «европейского концерта» сосуществовали и соперничали в правительственных сферах с хорошо аргументированным «иррационализмом» энергичного «мессианства» «восточников», сторонников активной политики в Азии. Первую геополитическую ориентацию представляло большинство министров иностранных дел (от Нессельроде до Сазонова), как правило, при поддержке министров финансов (Рейтерна, Бунге, Вышнеградского, Витте, хотя и их позиция не всегда была однозначной). Вторую позицию чаще всего озвучивали представители военного ведомства, настроенные более радикально и готовые к наступательному курсу в Азии и на Балканах даже под угрозой «раздружиться» с европейскими «партнерами» (Н.П. Игнатъев, ген. Черняев, фон Кауфман).

При этом рациональные «прозападники» зачастую проявляли меньшую «практичность», предпочитая сохранение «свободы рук» в международных делах прямому экономическому интересу. Так, министр финансов Бунге в целях поддержания баланса сил в Европе (уже и тогда весьма призрачного) старался проводить политику сближения с Францией, но без антагонизма с Германией, что само по себе, по справедливому замечанию американского исследователя Теодора Тарановски, напоминало иррациональный поиск квадратуры круга(7).

Однако полемика касалась не только и не столько географических приоритетов имперской политики, сколько форм и методов (а, следовательно, и внутренних последствий) экспансии. Так, сторонники «азиатской» ориентации (в том числе на определенном этапе и Витте) предпочитали подкреплять свои в высшей степени традиционные задачи «распространения европейской цивилизации в Азии» аргументом конкретной выгоды экономического освоения окраин. Нерасчлененность сфер внешней и внутренней политики в концепции имперостроительства эпохи модернизации наглядно продемонстрировал виттевский бум железнодорожного строительства и связанной с ним инфраструктуры. В этом смысле сам образ железной дороги через пространство Евразии стал символом мощных геополитических «швов», призванных «стянуть» и упрочить ветшающую ткань Российской империи.

Импульсы традиционного российского продвижения на Восток («греза об Индии», «мечта о Царьграде», освоение Манчжурии под рукою «Белого царя») были интуитивно верно восприняты тогдашними «восточниками» как характерные мифы общественного сознания, но ошибочно транслированы в духе новоевропейской имперскости, агрессивной и жестко утилитарной, действующей на государственной основе, строго «сверху». А ведь даже западные наблюдатели не могли не отметить уникальных российских особенностей «низового» расширения и освоения государственного пространства России как своеобразных и позитивных явлений, в успехе которых особую роль играли «высокие качества русских крестьян как первопроходцев в сочетании с их готовностью смешиваться с другими народами» (8).

На излете века «роман» русских мыслителей с Востоком был глубок и искренен. Соперником здесь, так же стремившимся к овладению «восточной темой», со временем выступил сам режим в лице

молодого императора Николая II. Лев Толстой и Николай Пржевальский, Леонтьев и Ключевский, Андрей Белый и приближенный императора князь Эспер Ухтомский – каждый в силу своего профессионального призвания в той или иной степени испытали и выразили обаяние идеи, *интенция* которой состояла в том, что император династии Романовых призван занять место правителя пришедшей в упадок манчжурской династии и включить её владения в свое царство.

Вдумчивый исследователь Азии Николай Пржевальский с поразительной для его осведомленности легкостью писал: «...С тысячей наших солдат можно покорить всю Азию от Байкала до Гималаев, здесь мы можем повторить подвиги Кортеса». И добавлял к этому «силовому», «новоимперскому» аргументу вполне традиционно-русское имперское обоснование: кочевые монголы, китайцы-мусульмане, и обитатели Восточного Туркестана уже готовы «сделаться подданными Белого царя, имя которого, наравне с именем Далай-ламы, является в глазах азиатских масс в ореоле чарующего могущества» (9).

Эмоциональный и идеологический накал аргументации «восточников» свидетельствовал о том, однако, что мистика Азии способна была больше повлиять на приоритеты российского имперства и умы государственных деятелей, чем «реализм» российской восточной политики – на реальное положение дел в Азии.

Меж тем само территориальное расширение исторического пространства, однажды осмыслившего себя в духе и стиле Империи, не столько несло в себе заряд непосредственной, отрефлексированной экспансии, сколько было проявлением периодически обостряющихся, нервических поисков имперским «организмом» собственных пределов – «от моря до моря».

Хорошо осведомленные российские исследователи, впрочем, понимали, какую цену придется заплатить России за свое продвижение

на восток. Так, Семенов-Тянь-Шанский представлял себе юго-западные просторы Сибири, осваиваемые русскими, в образе суживающегося к востоку зазубренного меча, конец которого «при всяком столкновении с внешними врагами... очень легко обрубить». «Правда, – добавлял географ, – сопротивление, по мере дальнейшего обрубания, будет расти в геометрической прогрессии, но ведь и обрубки только одного конца достаточно для того, чтобы уничтожить суть системы «от моря до моря» (10). Беспрецедентный в истории пространственный размах, с которым российское государство осуществляло свое территориальное продвижение, был одновременно источником и силы, и слабости, создавая противоречивую ситуацию смешения *разных* имперских дискурсов – пользы и выгоды, судьбы и миссии, блага и приобретения.

Наиболее чуткие наблюдатели из числа западных теоретиков подошли почти вплотную к разгадке источника этой российской «инаковости» – своего рода вне- или надматериальности имперского расширения (с точки зрения конкретно-прагматического государственного интереса): «Тевтонцы цивилизовались и приняли христианство от римлян, славяне же – от греков. Именно романо-тевтонцы впоследствии плыли по морям; и именно греко-славяне скакали по степям, покоряя туранские народы. Так что современная сухопутная держава отличается от морской уже в источнике своих идеалов, а не в материальных условиях и мобильности» (11).

Органика исторического расширения Российской империи, носители которого зачастую были движимы чем-то вроде инстинкта перелетных птиц (о чём так удачно написал А.А. Левандовский в отношении казачества в Сибири) (12), плохо сочеталась с *механизмами* имперской экспансии в британском духе. Будучи далеко не всегда бескорыстным по своим целям, такое расширение все же имело принципиально иную мотивационную базу. К тому же на фоне внешних

приращений и убывания государственной стабильности *имперское* в природе традиционной власти искало себе источники дополнительной исторической легитимности. Не наследства ли свирепой золотоордынской мощи (слившейся когда-то с «богоданностью» «православного царства») подспудно искала Империя, все ближе продвигаясь к развалинам древнего Каракорума? (13).

Мистика и расчет, интуитивные импульсы и практические интересы не только боролись, но и существовали параллельно в практике имперского целеполагания, чрезвычайно усложняя картину того, что можно назвать имперским интересом в эпоху модернизации.

Именно этот противоречивый гибрид традиционной органики и новоприобретенной механистичной прагматики был признан приоритетным в государственной политике России конца XIX века.

Попытка такого сочетания объяснялась, в том числе, и внешним обстоятельством – жестким противостоянием именно с Англией, мировым лидером в области выстраивания четких и функциональных механизмов имперства – на всех направлениях российского продвижения в Азии (проблема Проливов, соперничество в Северной Персии – «большая игра» за Индо-иранский коридор, поддержка Великобританией Японии в её противостоянии с Россией. Хотя некоторые исследователи и усматривают здесь влияние другой имперской колониальной модели (14)). Кризисы начала XX века выявили всю степень опасности, которой грозило государственной стабильности России подобное сочетание несочетаемого.

В сущности, и в самой России, и между нею и европейскими державами шла подспудная, но ожесточенная политико-культурная, идейная, духовная борьба двух типов имперства – византийско-православной идеи единственной империи, движущейся через века, несущей наследие Христа и транслирующей его вплоть до «Третьего Ри-

ма», и наследия Рима «ветхого», «нулевого», воплощающего бездуховную идею бюрократической государственности. Реальность новоевропейских *псевдоимперий* проистекала из наращивания уже сложившимися нациями-государствами западного мира ореола державной мощи в форме так называемых «колониальных империй», не транслировавших уже никакого традиционного наследства.

Характерно, что на Западе – по контрасту с тенденцией укрепления гражданского общества – процесс политико-государственного развития к концу XIX века привел к тому, что «наведенные, вторичные, рецессивные» имперские образования стали использовать (и весьма эффективно) «домодерные концепты центра, мощи, величия, воли, державности и силового контрапункта» (15). Символическим жестом Великобритании в этом смысле было принятие в 1876 году королевой Викторией титула «императрицы Индии». Поэтому можно сказать, что коллизия противоречий между слегка подновленной архаикой «имперства» в переплетении с процессами национального и гражданского взросления была характерна не только для России.

Так что не только российским политикам пришлось искать ответ на вызовы новой мировой ситуации, сложившейся к концу XIX века. Все европейские державы стремились найти – и не нашли – оптимального баланса в сочетании национальных интересов и государственных приоритетов в условиях жесткого противостояния и конкуренции различных экономических и геостратегических позиций. *Эгоизм целеполагания диктовал агрессивность средств целедостижения.* За неспособность правящих элит конструктивно решить новые задачи поддержания «баланса сил» народы заплатили бойней Первой мировой войны.

В этом отношении одним из ключевых – как для России, так и для других держав Европы – предстало в ту пору рациональное обос-

нование «азиатского вопроса», названное в 1904 году одним из основателей геополитики Хэлфордом Джоном Маккиндером *проблемой хартленда (Heartland)* – новой географической оси истории, переместившейся к началу XX века в континентальную часть Азии. На основе далеких ретроспекций, а также на материале событий «большой игры» и среднеазиатских приобретений России британский теоретик международных отношений делает далеко идущие выводы-предупреждения западным державам относительно перспектив русского присутствия в «осевом регионе» (*Pivot Area*). Высказанные буквально накануне начала Русско-японской войны, его слова приобрели для современников значение пророчества:

«Разве не является осевым регионом в мировой политике этот обширный район Евро-Азии, недоступный судам, но доступный в древности кочевникам, который ныне должен быть покрыт сетью железных дорог? Здесь существовали и продолжают существовать условия, многообещающие и тем не менее ограниченные, для мобильности военных и промышленных держав. Россия заменяет Монгольскую империю. Её давление на Финляндию, Скандинавию, Польшу, Турцию, Персию, Индию и Китай заменило собой исходившие из одного центра набеги степняков. В этом мире она занимает центральное стратегическое положение, которое в Европе принадлежит Германии. Она может по всем направлениям, за исключением севера, наносить, а одновременно и получать удары. Окончательное развитие её мобильности, связанное с железными дорогами, является лишь вопросом времени. Да и никакая социальная революция не изменит её отношения к великим географическим границам её существования».

Делая практические выводы из своего рассуждения, Маккиндер заранее предупреждает и об опасности особого усиления России в осевом регионе (последствием чего может стать «новая мировая им-

перия», «если Германия захочет присоединиться к России в качестве союзника»), и о нежелательности геостратегического ослабления России в пользу какой-либо азиатской страны («если бы, например, китайцы с помощью Японии разгромили Российскую империю и завоевали её территорию, они бы создали желтую опасность для мировой свободы тем, что добавили к ресурсам великого континента океанические просторы, завоевав таким образом преимущество, до сих пор не полученное русским хозяином этого осевого региона») (16).

Нельзя сказать, чтобы для русского уха подобные идеи звучали ново. Схожие мысли, но с иным пафосом – на четверть века раньше – начали озвучивать панслависты. Данилевский высказывался ещё определенной и конкретной: о легендарной русской мечте похода в Индию (обернувшейся на практике завоеванием Средней Азии) он говорил как о «вещи совершенно возможной» и как о «единственном оборонительном средстве России в войне с Англией». Кабинетный ненавистник Европы с искренним возмущением восклицал: «Да где же, Господи, наш-то Восток, который нам на роду написано цивилизовать?» (17). В исторической оправданности и государственной приоритетности подобной миссии у него сомнений не возникало. И то сказать, «англичан бояться – никуда не ходить...» (Достоевский). Очевидно, что русские мыслители писали не столько о внешнеполитических приоритетах государства, сколько стремились отрефлексировать имперское самосознание тогдашней России, озабоченное прежде всего интересами внутренними, связанными с попыткой убедить самое себя в нерушимости своей мощи.

Иной, историко-гуманистический оттенок имперскому интересу к Азии стремился придать востоковед и писатель Эспер Ухтомский в своем «Путешествии Государя Императора Николая II на Восток». «В то время, как у нас на базарах Мерва и Ташкента молодой солдатик,

смешавшись с толпой азиатов, запросто обращается с ними и отнюдь не чувствует себя среди каких-то глубоко ненавистных дикарей, типичные представители британского оружия и британского престижа, в лице нижних чинов, постоянно видят в инородцах подобие тварей, а не людей», – пишет он. Отчего так? Да потому что «для нас... и для Азии основу жизни составляет вера» и весь строй нашей жизни «дышит глубоко восточными умозрениями и верованиями». Подобное духовное обоснование должно было освободить имперские приоритеты от оттенка амбициозности и экспансионизма. Долженствовало, но не смогло. Венценосный ученик не услышал *этих* нот в словах наставника.

Потребовался жестокий урок русско-японской войны, чтобы устами военных и ученых-востоковедов озвучить тему небесспорности азиатских приоритетов и амбиций России, лишь усиливающих внутреннюю уязвимость грандиозного, но рыхлеющего имперского пространства (не только в географическом, но и во внутривосточном смысле). Да и сокрушительная по сравнению с другими европейскими державами человеческая стоимость (в абсолютных и относительных цифрах) российского участия в геополитических играх также стала тревожить ряд государственных деятелей, не всегда, правда, приводя к переоценке базовых государственных приоритетов (18).

СЛУЖЕНИЕ И СЛУЖБА

Исторический материал 80-90-х годов привел ряд русских мыслителей к необходимости если и не «развести» проблемы внутреннего и внешнего интереса, то, по крайней мере, выстроить разумную систему приоритетов в этой области. Так, П.Б. Струве формулирует задачу «естественного и необходимого» подчинения характера внутренней

политики по отношению к «образу политики внешней». Разумный эгоизм внешнеполитического курса должен не допускать растранивания внутренних накоплений, сама же позиция России в международном сообществе должна быть свободна от авантюризма и проявляться в борьбе государства за наилучшие условия привлечения ресурсов внешнего мира и их успешного использования внутри и на благо страны и её народа (19).

Подобная тема *небезразличия* к благополучию жителей империи, а не только к интересам олицетворяющей её власти, была менее разработанной с «государственнических» позиций – по сравнению с повышенным вниманием к ней в популистском, демократическом направлении общественной мысли. И дело здесь не только в особой роли государства как основной смыслообразующей компоненты российской цивилизации (в ущерб обществу, индивидуальности и т.п.). *Безразличие* как антоним *интереса и приоритета* (применительно к империи) приобретает в контексте эпохи особый смысл.

Интересную мысль в связи с этим высказывает Д.И. Олейников, выдвигая следующее предположение: «Очевидно, то, как рушатся империи, зависит от того, как они начинают строиться. Можно ведь и взглянуть на дело так, что империя – продукт сразу двух безразличий. С одной стороны – основной массы (для России это крестьяне, до того погруженные в свой ежедневный многотрудный уклад, что им просто некогда следить за тем, что там происходит наверху), с другой – духовно и материально свободной элиты (ей безразлично, кому платить материальную и интеллектуальную дань). В этом случае мы получаем очень интересную структуру империи, когда центром её становится личность монарха, а периферией, окраиной – люди, народ, земля... В этом смысле Тифлис, Одесса, Варшава наместника ближе к центру (и сердцу) империи, чем тверская или псковская глубинка» (20).

В этом замечании есть много справедливого, тем более, что сочетание тем «свободы» и «несвободы» в имперском исполнении представляется гораздо более сложным, чем это принято считать. Напомним, что сущность империи – абсолютная правда власти, поскольку – в соответствии с классическим правовым обоснованием термина «*imperium*» – бремя этой власти изначально и по определению передано народом *непосредственно императору*. Таким образом, империя в метафизическом плане становится высшей формой свободы, ибо снимает с народа моральную, культурную и политическую тяжесть принятия государственных решений, расширяя пространство и возможности для любой другой деятельности. Поэтому культурные взлеты, приходящиеся на эпохи усиления имперской саморефлексии, происходят не вопреки (как это зачастую считалось), а благодаря факту существования имперской государственности (21).

В российском варианте эта своеобразная «свобода» общества в империи все более достигалась «замораживанием сверху» (что так точно уловил и обозначил Константин Леонтьев). В итоге к концу XIX века в России создалась прочная, но не гибкая структура, которая способная была отражать слабые и умеренные внешние воздействия, но при сильных потрясениях была обречена расколоться.

Впрочем, возможно и созданная как продукт «безразличия», империя чаще всего вызывала к себе крайние чувства – либо предельную ненависть (со стороны участников того явления, которое ещё недавно в отечественной историографии принято было называть «освободительным движением») либо восторженную любовь «государственников-патриотов». Это и не удивительно. Империя самой своей грандиозностью восхищала и завораживала воображение наблюдателя и одновременно отвращала и возмущала своей гигантоманией, «голосом Тщеславия», «похотью власти» (Г. Федотов).

В этом смысле категории «интереса» и «приоритета» слишком слабы и позитивистски невзрачны, чтобы описать те достоинства и вины, которые приписывались современниками целям и устремлениям собственной власти. Высокая эмоциональная насыщенность выступала здесь не только формой, но и побудительным стимулом идейных поисков.

Но даже самым принципиальным критикам традиционной российской государственности трудно было не признать, что империя – не всегда корыстное завоевание и не во всем – алчная эксплуатация. Свидетелями защиты здесь выступали и универсальное просвещение, сочетавшее в себе эллинскую и римскую традиции, и избавление восточных народов от крайностей деспотизма собственных правителей и внутренних усобиц, и динамизм социального развития, привнесенного на окраины, и возможность мобилизации и освоения огромных ресурсов на культурное и государственное строительство, и, наконец, воспитанное имперской традицией ощущение европейской культурной идентичности, преодолевающей иную традицию – исторической замкнутости и ксенофобского недоверия.

В этом смысле коллизию между «старым» и «новым» имперством» весьма показательны иллюстрируют изменения в статусе и роли тех людей, в которых на местах по традиции видели воплощение верховной власти – российских губернаторов. Напомним, что наследие Великих реформ ориентировало все уровни власти на большую рациональность функционирования, меж тем как губернаторство, как и самодержавие, продолжало в значительной степени оставаться властью харизматической, опирающейся на чувства, веру и традиционную преданность подданных.

Впрочем, ряд исследователей усматривают в этом стиле губернаторского правления конца XIX века ряд в высшей степени полезных

тактических свойств, способствовавших поддержанию мира на местах. Патриархально-патримониальные черты облика губернатора как «наместника» самого царя позволяли сочетать самые разные, зачастую неформальные, способы и приемы разрешения провинциальных проблем и конфликтов (22).

С учетом все возрастающих проблем функционирования огромного имперского организма в условиях модернизации, на русского губернатора легла трудная задача «перевода» меняющихся государственных приоритетов верховной власти на язык местных практических нужд. Как отмечает американский исследователь Р. Роббинс, «статус губернатора как непосредственного представителя царской власти делал его в глазах провинциальных обывателей совершенно особым существом, наделенным едва ли не сверхъестественными возможностями. Потерявшие надежду разобраться в неразберихе местной жизни, замороченные уездными властями, разочарованные в земстве, простолюдины шли именно к «их высокопревосходительству» с последней надеждой на помощь» (23).

Однако и здесь далеко не все обстояло благополучно. С одной стороны, слабое развитие общественной жизни на местах и путаница в управленческой структуре, где пореформенные элементы все ещё соседствовали с дореформенными, повышали статус губернатора. Но, с другой стороны, эти же обстоятельства подрывали реальную силу этого поста. Земства (особенно «прогрессивные») с губернаторами не дружили; земские начальники не стали их помощниками и не были в их подчинении; отношения с армией и полицией требовали чрезвычайной деликатности и в случае социальных волнений могли даже навредить; полномочия губернаторов в царствование Александра III были расширены, и штат подчиненных оказывался явно недостаточным. Бесконечное законотворчество центра и административный экстаз

министерских циркуляров делали попросту нереальным для губернатора учитывать в своей деятельности *все* распоряжения, поступавшие сверху.

В сущности. «начальники губерний» (как их свысока называла либеральная печать) столкнулись в масштабе провинции с той же проблемой, что и имперская власть в целом: как примирить задачи жесткой, рациональной бюрократической иерархии с нуждами жизнеспособного, органичного управления на местах? Профессиональная эквилибристика губернаторов, стремившихся сочетать трудно сочетаемое, на протяжении последних десятилетий достигла высокого мастерства, но возможности здесь были не беспредельны.

Голод и эпидемии, городские беспорядки и крестьянские волнения, погромы и пресловутое «освободительное движение», земская агитация и разгул терроризма – все эти явления, исподволь подрывавшие благополучное правление «царя-миротворца», были той ежедневной экстраординарной «рутиной», с которой губернаторской власти пришлось входить в XX век. Ряд исследователей приводят многочисленные примеры мудрого, достойного поведения губернаторов, в самых отчаянных ситуациях предотвращавших конфликт и кровопролитие умным словом, мужественным поступком или жестом... (24). В значительной степени их позиции верховная власть была обязана тем, что её «наместники» ощущали государственный интерес как стремление спасти то, что ещё можно было спасти, мастерски латая расползающуюся «ткань» традиционного режима, решившего совместить нерушимость принципов самодержавия с модернизацией социально-экономического уклада.

Нарастающая ненависть общества к империи (и как к символу агрессии, направленной вовне, и как к образу угнетения, распространяющегося внутри) и была в России последних десятилетий XIX века явлением одновременно как закономерным, так и «заемным».

На протяжении столетия россияне были свидетелями (и в меньшей степени участниками) борьбы двух этик – служения консервативно-легитимистскому принципу верности империи или династии («За Веру, Царя и Отечество» или – в трактовке де Местра – «Папа–Король–Палач») и морального постулата справедливости лишь национального государства, создающегося в борьбе с имперским Левиафаном. Под этим углом зрения и события Первой мировой войны видятся как предельное обострение ситуации, в сердце которой – борьба Наций и Империй.

XIX век, названный «веком национализма», принял от эпохи Просвещения идейное наследство, позволявшее, казалось бы, отследить тот момент, когда не фактор силы, а иные исторические ценности начинают диктовать государству новые приоритеты и новый, неимперский тип поведения. Национальная культура, язык, самоуправление предстали тогда как нечто более важное, чем гарантированный «уют» и относительное «спокойствие» под крылом сильной, ревнивой, унифицирующей власти. Здесь-то имперские властолюбивые привычки и берут реванш, предлагая экспансионистские технологии *модерного колониального имперства* как альтернативу (или суррогат?) иным формам организации государственного бытия.

В этой ситуации национализм и демократия (которые лишь XX век сможет раздружить до состояния «или-или»), имея общего предка в идее народного суверенитета, становятся полноценной этической антитезой со стороны гражданского общества тщеславному корыстолюбию имперства. Национальный интерес в таком случае часто не только не совпадает, но и противоречит государственным приоритетам.

В России конца XIX века картина выглядит ещё сложнее. Если подходить к понятию «гражданского общества» с позиций классического определения его как *общества независимых от государствен-*

ного аппарата собственников, то в России даже после эпохи Великих реформ 1860–1870-х годов говорить о «независимых» собственниках можно было с большой натяжкой. Чего не скажешь о самих идеях гражданственности и правопорядка, которые нашли себе пристанище в умах передового общества и в этом эфемерном существовании сумели стать серьезной общественной силой. Отсюда – один из источников эффективного мифологизирования концепта «национального интереса» (без нации) и последующей (довольно противоречивой) его эволюции в двух направлениях – в сторону задач «освободительной борьбы» народа со «злом самодержавия» и в сторону славянофильствующего мессианства, борющегося не с традиционной властью, а с западническим искажением её «национальной физиономии».

Первая тенденция по мере приближения XX века все активнее радикализируется, превращаясь в то, что П.Б. Струве, Н.А. Бердяев и Г.П. Федотов со временем назовут «антигосударственностью» общества. В ответ власти начинают видеть в этом самом обществе врага не только себе, но и природной «русскости». При этом ощущение самодостаточности имперской государственности питается убеждением, что Россия невозможна как «нация». Поэтому, как отмечает современный исследователь, «хроническое недоверие государства в России к представителям общества является реакцией не на возможность построения российской нации силами этого общества, а на невозможность этого строительства» (25). В итоге же защита российской власти от российского общества традиционно мнится приоритетным и актуальным «государственным интересом».

Вторая тенденция также переживает процесс радикализации в благоприятном для себя климате двух последних «славянофильствующих» царствований. При этом свойства иррациональной авторитарности и политического реализма в общем потоке питающих её

идей пребывают на протяжении 1880–1890-х годов в состоянии неустойчивого равновесия. Именно внедрение рационального компонента в эту традиционно-почвенническую трактовку «национального интереса» особенно примечательно на фоне попыток империи придать рациональность своим внешне- и внутривнутриполитическим устремлениям в условиях набирающей обороты социально-экономической модернизации. Одним из проявлений этой осторожной идейной рационализации была попытка привить политико-культурный концепт «разделения властей» к «дичку» традиционной государственности.

Значительную роль в этом сыграло славянофильское противопоставление «силы власти» и «силы мнения». При такой исходной посылке идея «разделения властей» теряла свой либерально-западнический оттенок, поскольку предполагала автономное существование «национально мыслящего общества», формирующего идейную, духовную и нравственную реальность «национального интереса», от бюрократии, обслуживающей материальную сторону этого интереса.

Парадоксально, но свою лепту в рационализацию концепта «национального интереса» внес и такой ненавистник европейской рациональности, как Данилевский. «Национальный интерес» осмысливается и реализуется в деятельности государства. Но именно государство, по мысли Данилевского, не имеет бессмертной души и рассчитывать на существование в ином качестве ему не приходится. А потому сфера его деятельности – *сугубо материальна* и состоит в заботе о жизни, благополучии, долголетию и престиже тех, кто, обладая душой и исторической судьбой, призван к последующему приобщению к жизни вечной (26).

Это заявление звучало довольно ново и необычно для российской традиции, в рамках которой было свойственно видеть в государстве

одну из самых значительных ценностей либо духовного-религиозного, либо политико-правового порядка.

Сам факт размышлений на подобные темы свидетельствовал о том, что на рубеже веков не только либеральные оппоненты, но и консервативные сторонники традиционной власти испытывали потребность в формулировании новых (или хорошо забытых старых) аргументов легитимности самодержавия. То, что казалось прежде само собой разумеющимся, теперь требовало развернутого политико-культурного обоснования с целью прояснения природы самого субъекта государственных приоритетов.

Так, в своем «Опыте построения понятия самодержавия» Д. Хомяков определял категорию «внутреннего строя» народа через «степень устремленности нации к высшим духовным ценностям», а понятию самодержавия придавал смысл не «формы правления», но воплощения «активного самосознания народа, концентрированного в одном лице». По сути это размышление с обескураживающей легкостью снимало любые противоречия между «национальным интересом» и «государственным приоритетом», поскольку опиралось на вывод о природе самодержавия как живого олицетворения духовного союза между властью и обществом (27).

По тому же пути, но с менее оптимистичным настроем, движется в своих рассуждениях Лев Тихомиров, когда пишет о том, что «по самому существу монархия как выразительница нравственного идеала национальной судьбы находится в теснейшей связи с тем, что называется исторической идеей нации или её исторической миссией». Выдавая свои вполне обоснованные страхи за отвлеченное пророчество, он говорит о том, как опасна для нации потеря «духовной силы», ибо подобное банкротство окончательно, и никакая монархия, став в этой ситуации не более, чем пустой скорлупой, не в состоянии возродить такую нацию из духовного небытия.

Взгляд на развитие России в пореформенную эпоху приводит но-вообращенного защитника монархии к неутешительному выводу о «расслаблении» как «национальных сил», так и «государственного управления» в условиях засилья бюрократии, вырывшей непреодолимую яму между властью и народом. Наименее желательный вариант дальнейших событий по Тихомирову оказывается и наиболее вероятным: чем менее внушительной становится национальная идея, тем агрессивней ведут себя нерусские народности, объединяясь с революционерами... Лишь величественная фигура Александра III, способного бдительно надзирать за бюрократией и способствовать подъему национального духа и творчества, ещё возвышается в воображении автора над самой кромкой пропасти, которой грозит стране грядущая «язва парламентаризма» (28).

В пылу полемики с либералами-западниками защитники самодержавия «с национальным лицом» и идеи «народной монархии» (от Тихомирова до Солоневича) не замечали, как впадали в ересь, допуская подмену понятий. Нация – суть идеал третьего сословия, тогда как идеал монарха – самодержавие – образ Царства Вечного. Место царя – «над языком Твоим, притяжанным честною Кровию Единородного Сына Твоего». Поэтому и поставлен монарх, согласно духу и букве Евангелия, «не над нацией, не над государством, но над Народом Божиим... Следует добавить, что во время «сентябрьских убийств» 1792 года санкюлоты «причастили» к нации мадемуазель де Сомбрейль, которую заставили выпить кровь священников и аристократов. Пример достаточный для того, чтобы не смешивать понятий» (29).

Свою лепту в обоснование (а вернее – уточнение) источника легитимности самодержавной власти в конце XIX века внесли и православные пастыри, дабы вольная риторика на столь ответственные те-

мы не смущала умы. Так, пытаясь чёткостью традиционной формулировки несколько сдерживать пафос славянофильствующих защитников исторической власти в России, схиархимандрит Варсонофий Оптинский (Плиханков) строго уточняет: монарх в России не есть представитель своего народа, но суть «представитель воли Божией» (30).

Однако попытка восстановить идеологическую четкость и каноническую строгость православной трактовки «земного», «царского» и «божественного» начал в «историческом теле» российской государственности была явно запоздалой. Сама власть в лице двух последних государей активно разыгрывала «национальную карту» в духе пафосной «почвеннической» риторики. Придание ярко выраженного идеологического окраса этому курсу сработало в итоге на понижение духовного статуса и стилевой чистоты мифологем «самодержавия» и «народности».

Похоже, что Александр III был столь увлечен демонстрацией своей связи с народными корнями и до того убежден в ответной любви народа, что с ревностью и неприязнью относился к тем, кто тоже осмеливается рассуждать на эту тему, тем более действовать в подобном духе. Любая попытка даже самой охранительно настроенной общественности разделить его роман с «верноподданным народом» вызывает его резкий окрик (31). Подозрительное отношение к сочинениям славянофилов, роспуск «Священной дружины», отказ от идеи Н.П. Игнатьева о созыве «Земского собора» на «народной основе», возвышение гр. Д.А. Толстого, не признававшего «крестьянскую Россию» – это и многое другое свидетельствовало о том, что интуитивно российский самодержец, возможно, понимал опасность той стихии, которую способна была разбудить подобная «национальная идея» в авторитарном и полиэтничном государстве.

Что, в таком случае, убеждало императора в своей правоте? «Сознание вседозволенности и ответственности за свои поступки и

решения только перед Богом», – пишет академик Б.В. Ананьич (32). Совершенно справедливо, но все дело – в этом весомом «только».

Для человека традиционного, религиозно окрашенного сознания (а именно таким и выступает в истории этот васнецовский «былинный богатырь») это «только» было проявлением высшей степени ответственности, а не своеволия. Той ответственности, что была им отработана, может быть, политически и не слишком талантливо, но с его собственной нравственной точки зрения – честно и последовательно.

КРОВЬ, ПОЧВА И ОПЕКА

Однако одним из последствий подобного курса было привнесение ещё одного противоречия в имперскую природу российской государственности. Христианский универсализм и свобода от узконационального эгоизма, свойственные лучшим проявлениям православной имперской традиции, не смогли предотвратить зоологизма погромов и нетрезвого руссоизма «охотнорядской» стихии, подхлестнутых то молчаливым попустительством властей, то их растерянностью.

Любое ужесточение национальной политики в отношении иноплемен и нехристианских вероисповеданий уже давно с большой настороженностью воспринималось просвещенными консерваторами из правительственных кругов (П.А. Валуев, П.А. Шувалов, С.Ю. Витте и др.) «Национальная карта», начавшая со временем разыгрываться идеологами правого экстремизма, вступала в противоречие с базовыми, доминирующими ценностями российского государственного менталитета, построенного на органике и универсализме имперостроительства. Эксплуатация раздраженного национального чувства, легко перерождавшегося в патологические эксцессы, не соответствовала ни божественной, ни земной миссии Православной империи. Не соответ-

ствовала она и четкому порядку «полицейской государственности» тевтонского образца, призванной укрепить «петербургским гранитом» сейсмоактивность «русской почвы».

А «почва» и в самом деле начинала давать опасные трещины. И одна из них – феномен этнофобий, который лишь зарождался в царствование Александра III, но обречен был с особо опасной силой проявиться в царствование его сына.

Еврейские погромы как массовое явление впервые прокатились по России – в западных и юго-западных районах – в самом начале царствования Александра III. Упорные слухи о том, что это «евреи убили государя-мученика», стали запалом погромных настроений. Основной группой погромщиков были крестьяне, представители городских низов и казаки – та самая «почва», на которую как на оплот стабильности полагались идеологи «народной монархии». Правда, в тот период, как пишет на базе архивных документов исследователь Л. Гатагова, основной целью погромщиков было, как правило, «не убийство, а разграбление имущества евреев-лавочников,.. попутно громили дома, били стекла, ломали утварь. Нападению подвергались частные квартиры, дома, синагоги. Лишь в отдельных случаях доходило до избиений, нанесения тяжких телесных повреждений и даже убийств...» (33).

Архивные свидетельства выявляют основные черты этих ранних феноменов активной этнофобии: спонтанность, иррациональность и непричастность властей. Однако формальная непричастность не снимала как с местных властей, так и с власти в целом иной грех. «Состав преступления» был не явным, но по большому счету тяжким. Весь объем социально-экономических проблем, который накопился в предшествующее царствование и продолжал лишь увеличиваться в 80-х годах, сопровождался мощным накоплением агрессии. Бытовая и

эмоциональная невротизация неуклонно возрастала. У имперской власти, построенной по законам иерархии, вектор отреагирования агрессии в виде субдоминант направлен всегда вниз. Там-то, отмечает историк, и происходит окончательная, непропорционально возросшая разрядка. «Но вся беда в том, что у низов нет механизма отреагирования агрессии. Однако всегда имеются «козлы отпущения».

А что же власть с её заботами о социальном мире на окраинах и в центре? «...Все дело в том, что в погромах канализировались чудовищные “запасы” неотреагированной агрессии, той самой, которой так страшились власти, не всегда способные удержать низы от восстания.» (34) Итак, не провокация и не пособничество юбофобским настроением, а малодушие в государственном масштабе, когда многовековая интуиция, обострившаяся к концу XIX века, подсказывала: за бурей последует утомление, растерянность и затишье... А другие «козлы отпущения» всегда найдутся в большой и многонациональной стране. Роковую ошибочность это позиции и властям, и народу ещё предстояло обнаружить.

Позицию самодержавия в национальном вопросе точнее всего можно определить как *потерю представления о государственных, имперских приоритетах*. Закрывая глаза на тот характер и масштаб, который со временем приобретал механизм отреагирования агрессии, Империя, воплощенная в образе самодержца, все более отказывалась от своего духовного универсализма и содержательной идентичности. «Народ Божий» под тяжелым взглядом императора окончательно разделился на «надежных» «верноподданных» и «злокозненных» «студентов, жидов и социалистов».

По контрасту с этими драматичными сюжетами обратимся к теме созидательной, напрямую относящейся к самой актуальной сфере новых государственных приоритетов. Речь пойдет о социальной про-

блематике. С известной степенью уверенности можно сказать, что в исследуемую эпоху начали отрабатываться контуры социальной программы консервативного реформаторства, не всегда последовательной, но от этого не менее интересной.

Именно социальная политика двух последних десятилетий XIX века вплотную подводит нас к теме доктрины политического консерватизма и степени её реализации в правительственном курсе того времени. Конечно, политика «сословного мира» и попечительской заботы о «малых сих» проводилась и раньше. Но в предшествовавшие царствования эти явления свидетельствовали собой традиционный курс патерналистского отношения «надмирной», «надсословной» власти к своим подданным. Политика же 1880–1890-х годов позволяет говорить о том, что к привычным методам «опеки» и «попечительства» прибавляются черты социального мышления, активно развивавшиеся в рамках того, что в нынешней терминологии можно назвать курсом «консервативной стабилизации» или «контролируемой модернизации» (35).

Тот факт, что повышенный интерес к *социальности* был чрезвычайно характерен для умственного климата конца столетия, упоминал целый ряд русских мыслителей. При этом С. Франк отмечал «глубоко консервативный в философском плане характер» этого интереса вне зависимости от актуальной политической ангажированности тех или иных сторонников социальной темы (36). «Недоговоренность» и «философская непродуманность» этого вопроса приводила к тому, что «верующие в Лассаля и Маркса» не ведали того, что интеллектуальный исток их опрощенной социальной озабоченности восходит в консервативной доктрине Берка, де Местра и Гольбаха.

С другой стороны, как замечает современный историк, сам «русский марксизм» (в его небольшевистской форме) можно рассматри-

вать как альтернативный проект в общем русле социальной темы (37), где ему жестко оппонировали и непоследовательность социальной политики властей, и свирепая утопия радикалов. И та и другая крайности были, по сути, проявлением оскудения, понижением интеллектуального и нравственного градуса русской социальной мысли.

Лишить социализм его привлекательности, освоить оружие противника, противопоставить социализму «передового общества» социальный проект власти – таков был прощальный (в буквальном смысле!) призыв последних реформаторов XIX века к монарху. Одаренный министр финансов, председатель комитета министров и наставник наследников императорской семьи в экономических дисциплинах, Н.Х. Бунге в своем предсмертном послании Александру III сформулировал мысль, так и не услышанную адресатом и плохо усвоенную его преемником: «На социализм надо смотреть не как на нечто, могущее быть искорененным, но как на нечто, требующее введения в известные границы... Нельзя искоренить социализм, как нельзя искоренить микробов. Без желания счастья и стремления к нему застыла бы сама жизнь. Для успешной борьбы с социализмом необходимы нравы, учреждения и законы, упрочивающие нравственное и материальное благосостояние всех и каждого, как классов, владеющих недвижимым имуществом, так и рабочих».

Пытаясь объяснить неуступчивой власти, что достигнутое за десятилетия ускоренного экономического развития промышленное и финансовое положение может стать источником кризиса, а не процветания в случае обострения социальных противоречий, он объясняет причину трудного вращивания патриархальной крестьянской России в новые экономические реалии, созданные новыми государственными приоритетами индустриальной и финансовой модернизации: «...Многие ли из бедняков, придавленных нищетой, могут понять, что недвижи-

мая собственность, наследство составляют условие для индивидуального развития и для упрочения семейного духа, что денежные капиталы вывели человека из состояния рабства и зависимости, что соперничество есть символ свободы личности...» (38).

Нельзя не согласиться с современным философом, когда он делится своим ощущением от духовно-эмоционального и умственного климата той эпохи: «Просматривая литературные источники конца XIX и начала XX в, мы отчетливо видим, как среди образованной части общества назревало ощущение духовной скудости, унылости и одновременно ответственности за социальную несправедливость жизни». Сейчас – в ретроспективе – становится ясно, что уже тогда наиболее чуткими наблюдателями предчувствовалась возможность всеохватывающего и сокрушительного конфликта: социального, мировоззренческого, религиозного или даже военного (39).

Возможность «всеохватывающего конфликта» на почве диспропорций именно в социальной и экономической сферах осознавалась современниками той эпохи – как в России, так и за её пределами. В конце столетия спешные поиски решения острых социальных проблем были приоритетны практически для всех европейских элит. От степени зрелости их «проектного мышления» в социальном вопросе во многом зависел сам факт их политического выживания. О масштабности и значимости этой проблемы свидетельствовал и такой значимый для западного мира акт, как появление в 1891 году энциклики папы Льва XIII «*Regum novarum*», в которой идеи консервативного реформаторства обосновывались в русле духовного обновления на базе социальных преобразований под эгидой Церкви и государства.

Ускорение и масштаб индустриализации «усиливают ту часть населения, на которую монархическая власть не может положиться... Настоящей опорой монархии может служить все же только сельское

население. Если все пойдет так, как теперь, то монархия или превратится в республику, или, как в Англии, станет псевдомонархией» (40). Эти слова не принадлежат ни Каткову, ни Победоносцеву, ни графу Д.А. Толстому. Так писал в 90-х годах XIX века немецкий консерватор, стат-секретарь имперского ведомства внутренних дел Германии, граф Артур Посадовский. Именно ему предстояло на практике продолжить уже начатый правительством курс «педантично разработанной социальной политики попечительства», основанный на доктрине христианской солидарности (41).

Социальная поддержка сельского населения как наиболее надежной, традиционалистски настроенной опоры власти в сочетании с поощрением разумного рабочего законодательства и поощрения неполитических форм корпоративной организации промышленного рабочего класса были главными тактическими опорами этого курса. Принципиальность позиции в социальном вопросе при способности к эволюции и учету новых обстоятельств заслужили Посадовскому прозвище «стат-секретаря социальной политики». Сочетание этатистской и патерналистской традиций в проработке социального вопроса описывалось в тогдашней Германии чеканной формулировкой-инструкцией: «Консерваторы должны охранять государство таким образом, чтобы народ был доволен» (42).

При всей актуальности (и, вообще-то, банальности) подобной идеи (для российской власти в целом и для царствования патерналистски настроенного Александра III в частности) практическое наполнение её было небесспорным и весьма противоречивым – особенно в период 1880–1890-х, когда курс на модернизацию экономики и индустриализацию промышленности проводился режимом, упорно настаивавшим на неизменности «основных начал» самодержавного государственного уклада.

Патриархально-морализаторская сторона подобной политики, помноженная в общественном сознании на императивы кантовского этического учения, не вызывала особых дискуссий. Но сами *приоритеты социальной политики* (в смысле главного адресата социальной опеки, а также путей и способов достижения «мира сословий») были неоднозначны.

Это в 80-е годы ещё можно было картинно возмущаться «модой» на технические достижения и засилье «железа», протестуя против «машин и вообще ... всего этого физико-химического умственного разврата..., этой страсти орудиями мира неорганического губить везде органическую жизнь..., растительное разнообразие, животный мир и самое общество человеческое» (43). На рубеже веков выбор в пользу индустриального развития и экономической модернизации цивилизации не просто состоялся и не просто принес свои первые плоды. (Хотя и они были весьма значимы и показательны: страна с более, чем полумиллиардным населением, в коем крестьян было 96,9 млн., за 1890–1899 гг. удвоила (!) удельный вес своего промышленного производства в системе мирового хозяйства).

Этот выбор стал в цивилизационном смысле судьбой России на следующий век, когда руками большевиков отнял у самодержавия приоритет ускоренного экономического развития, уничтожив в лице традиционной власти сам исходный «носитель» этого приоритета. Запоздывание проработки социальной программы, непропорциональность в выстраивании базовых приоритетов социально-экономического развития в исторической перспективе жестоко отомстила власти, попытавшейся механически сочетать традиционные ценности и символы патриархальной империи с технологическими завоеваниями западной индустриальной цивилизации.

Определяя главную коллизию эпохи как «смену власти: власть земли уступила место власти денег», Анатолий Вишневский отмечает,

что в тех ответах, которые правительство стремилась дать на вызовы времени, преобладали не крайние, а «промежуточные позиции, допускавшие сочетание «старого» и «нового», «своего» и «чужого» (44).

Заметим, что подобная эклектика в целом чрезвычайно характерна для политики консервативно ориентированной, предполагающей использование оружия противника для борьбы с ним. Способность к тактической мимикрии с целью отстоять в неизменности стратегический приоритет играет здесь, как правило, особую роль. Сама по себе, эта эклектика не плоха и не хороша. Она – лишь рабочий инструмент в руках консерватора-реформатора. Все дело – в мере политического таланта и профессиональной продуманности при пользовании этим инструментом.

Представляется, что в общем правительственном курсе 1880–1890-х гг. следует различать государственный приоритет стратегии – укрепление мощи государства на путях финансово-экономических преобразований, и приоритетные тактики самого аппарата при осуществлении этого курса.

Эта непростая двойственность была ежедневной, рутинной реальностью внутривластной ситуации, неизменно вызывая у самого императора нервическую подозрительность и властолюбивую ревность к наиболее одаренным представителям собственного же бюрократического аппарата. К числу запретных тем были изначально отнесены все те сравнительно невинные прожекты, с помощью которых наиболее чуткие мыслители из числа высшего чиновничества в предшествовавшее царствование пытались (столь же безуспешно) несколько осовременить и упорядочить механизм управления гигантской империей. (Имеются в виду введение скромных законосовещательных начал при обсуждении ряда проектов, идея создания «объединенного правительства», «ответственного министерства», а также учреждения поста премьер-министра.)

Уникальность и непререкаемость приоритета императорской власти – зачастую даже в ущерб приоритетам самого государства – воспринимались государем столь безусловно, что не допускали даже легкой тени намека на существование ещё какого-то высшего поста вроде главы правительства. Сложности же государственной управления, проистекавшие от нестройности и нескоординированности деятельности министерств, были не в счет.

Что оставалось тем, кому государь поручал воплотить свою грезу о патриархальном единстве православного царя с народом на фоне фабрично-заводского пейзажа? – Лавировать, уступать и стараться придерживаться небесспорной тактики «меньшего зла». Кто заплатил за осуществление проекта Сергея Юльевича Витте за государственное покровительство промышленности, за «евразийскую пропрограмму» железнодорожного и банковского строительства, за золотой рубль и финансовую реформу? – Малоимущие слои населения и, прежде всего, крестьянство. Ведь сама экономическая модернизация началась раньше, чем скопились на неё средства... Так, «меньшим злом» оказалось перенапряжение и истощение сил почти ста миллионов подданных-крестьян. Реальность растущего налогового бремени плохо совмещалась с правительственными размышлениями и планами в социальной сфере, а тем более со скудостью средств социальной поддержки.

И если в области социальной политики в отношении городских низов и промышленных рабочих все обстояло достаточно традиционно – введение рабочего законодательства и попытки регулирования «сверху» отношений между предпринимателями и наемными работниками, при всей ограниченности этих мер и явном оттенке «полицейского благоустройства», все же шли в общем русле европейского опыта, – то политика в отношении сельского населения имела ряд специфически российских черт.

По злой иронии, именно то сословие, которое было заявлено официальной риторикой в качестве главной – «народной» – опоры престола, более всего пострадало от «новаций» консервативного царствования Александра III. Вынужденно низкий уровень агрокультуры (из-за недостатка средств), перенаселение и малоземелье, феномен массового голода 1891–1892 годов настоятельно требовали как экстренных мер государственной защиты, так и долгосрочных социальных программ.

Традиционный общинный уклад зачастую оказывался единственной реальной социальной гарантией личности. Но сам этот уклад был не заслугой государственной власти, а особенностью того, что весьма условно можно назвать «русской цивилизацией», да к тому же все более переставал устраивать «крепких хозяев». Поощрение же общины и придание ей более современного вида – как корпорации в рамках современного общества – не входило в круг государственных приоритетов. В этом смысле власть скорее была склонна использовать механизмы общины в своих целях, чем способствовать её социальной и правовой эволюции.

То же можно сказать и о новых законах 1890-х годов в отношении земства. Государство стремилось не столько поощрить деятельность этого влиятельного в сельской среде института местного управления, сколько воспользоваться его авторитетом в своей политике поддержания «сословного мира».

При взгляде на земское законодательство той эпохи (с горечью названное либералами «контрреформой») привлекает к себе внимание тот факт, что и в учреждении нового поста земских начальников (1889), и в Положении о земских учреждениях (1890) одновременно реализовались два типа мышления (и соответствующих им приоритетов). Первое из них – полицейстско-бюрократического стремления

«огосударствить» излишне самостоятельные земства (Д.А. Толстой) даже ценою произвола новых «назначенцев» из дворян. Второе – патриархально-традиционалистское желание преодолеть опасную «социальную нивелировку» (А.Д. Пазухин) деревни, нараставшую как следствие Великих реформ, и восстановить сословную структуру сельского общества при выраженном преобладании дворянства, опасно «оскудевшего» как средствами, так и социальным влиянием. Забота о сохранении социальной структуры как «каркаса», не допускающего разрушения общественного организма (даже при том, что сама эта мысль не слишком талантливо и технологично была высказана Пазухиным) все же свидетельствует об определенной зрелости социальной мысли.

Занятно, что почти в то же время схожий по принципам (но не по исторической конкретике) проект укрепления сословного мира на местах и упрочения позиций землевладельческого сословия проводился в жизнь в Великобритании консервативным кабинетом Дизраэли. Общность «морфологии» социальной политики в этом смысле была заметна, но степень успешности и соответствия «духу времени» оказалась разной.

Было бы, однако, упрощением видеть в так называемых «контр-реформах» Александра III полный разрыв с реформаторским курсом своего родителя. (Уже упомянутая активность его в вопросах экономики, финансов и промышленности говорит о многом.) И в социальной, и в правовой сферах инициативы власти шли не в линейном режиме «от противного», а, скорее, в рамках сложной и противоречивой программы введения реформационных процессов в более «надежное», хотя и каменистое русло государственнических традиций, смягченных патриархальной риторикой возрождения сословности как средства «замирения» деревни.

Законы об учреждении Дворянского банка (1885), о крестьянских семейных разделах, найме на сельскохозяйственные работы, о пере-

воде государственных крестьян на выкуп все же производили впечатление определенной целостности и продуманности. Аспект государственного попечительства сливался в итоге с политикой дворянского надзора за крестьянством, совмещая в себе обе стороны «социального проекта» власти в деревне.

В целом же тенденции к социальной ориентированности в политике государства можно трактовать как суррогат политики «национального интереса» в отечественном исполнении, как не столь последовательный, но все же аналог (не синоним!) социальной политики состоявшихся наций-государств. За счет этого осторожного и умеренного курса все же была значительно расширена мотивационная база тогдашнего реформаторства, увеличен набор средств, призванных амортизировать удары и рывки ускоренного экономического развития.

Возможно, в чем-то алатырский предводитель дворянства А.Д. Пазухин был прав, когда в своей статье в «Русском вестнике» (1885 год) писал, что «там, где поместное дворянство теряет влияние на ход дела, власть очень быстро переходит в грязные руки представителей новых элементов». Ему на месте было виднее. Но на кого же тогда предполагали всерьез опереться авторы правительственного курса 1880–1890-х, если их сословная надежда – дворянство – все более скудела и если и обретала вкус к общественной активности, то лишь в лице своих радикальных, крайне неудобных и неблагонадежных представителей?

Талантливый идеолог и вдохновитель власти К.П. Победоносцев писал: «Есть в человечестве натуральная, земляная *сила инерции* (курсив мой – Т.Ф.), имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории, – и сила эта столь необходима, что без неё поступательное движение вперед становится невозможно. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы

безразлично смешивают с невежеством и глупостью, – безусловно необходима для благосостояния общества. Разрушить её – значило бы лишить общество той устойчивости, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы – вот в чем главный порок новейшего прогресса» (45). Не замечая ни противоположного физического смысла своей метафоры о «силе инерции», уничтожающего весь охранительный пафос мысли, ни едкого каламбура в слове «балласт», Победоносцев надеется опереться на то, что и силой-то не может быть названо по определению.

Инерционность социально-политических программ в сочетании с динамикой экономического роста в близкой исторической перспективе вызвали предельное перенапряжение в «теле» Империи, превращая тему приоритетов в проблему выживания. Проект консервативной модернизации все сильнее захлестывала волна антигосударственных настроений, – волна, этой же политикой и вызванная, поскольку в перспективе ещё больше сместила сейсмические пласты традиционного уклада, нарушенного в предшествующую эпоху.

Все видней, к тому же, становилась тенденция к *опрощению*.

Опрощению и оскудению политической культуры и практики. Об этом с удивительным единодушием писали люди самых разных убеждений и положений, и современники, и те, кто из следующего столетия ретроспективно обзирал эпоху. Эту особенность подметили Лев Толстой и Константин Победоносцев, Дмитрий Милютин и Константин Кавелин, Василий Розанов и Георгий Флоровский... (46) Опасность же, как оказалось, заключалась в том, что следом за опрощением шла нарастающая маргинализация политических движений и радикализация мировоззрения их лидеров. Чему и стала свидетельством эпоха царствования Николая II. При всей небесспорности своих пророчеств, Константин Леонтьев все же верно угадал, что огромно-

му, многослойному и многосоставному организму Российской империи вредило любое упрощение и была показана «цветущая сложность».

Ещё об одном опасном проявлении опрощения пишет прот. Г. Флоровский, отмечая оскудение церковной жизни и духовногословия, пополнявшегося в то время из рядов бедных «сельских обывателей», в связи с чем «деревенская нищета и простота слишком часто оставались и потом самой привычной и самой понятной средой». Отсюда – и «наивная склонность к внешней цивилизации и внутренняя непривычка жить «в культуре», в обстановке творческого напряжения». И этот-то «*сниженный тип православной церковности*» пришелся на время, когда уже «началось возвращение интеллигенции в Церковь» и вера, даже «сданная в Синод» (А.А. Киреев), оставалась единственной преградой на пути хаоса... Увы, «страсти и сомнения в свой час неистово прорвались из темных глубин. Это было точно возмездие...».

Пока же, на рубеже веков, петербургскому «классицизму» удавалось соседствовать со «старомосковским» стилем, а власти – совмещать прозападнический ориентир индустриального прорыва с патриархальной ветхозаветностью «крестьянского царства». Но характер государственных приоритетов поздней Империи так же отличался от насущных задач страны, как массивность конной статуи Паоло Трубецкого – от энергии всадника работы Фальконе.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Гагарин Г.Г. Строителям русских церквей. – СПб., 1892.
2. Подробнее о новом этосе имперского продвижения России см.: Тарановски Т. Между Европой и Азией: небесспорная симметрия //Родина. 1996.

3. *Вишневский А.Г.* Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. – М. 1998. С.229.
4. *Маккиндер Х. Дж.* Географическая ось истории. Доклад, прочитанный 25 января 1904 года на заседании Королевского географического общества //Полис. 1995. № 4. С.163.
5. *Kohn H.* Introduction. In: Hunszac T. (ed.) Russian Imperialism from Ivan the Great to the revolution. – New Brunswick, 1974. P. 6.
6. *Becker S.* Protectorats in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924. – Cambridge, Mass: Harvard Unif. Press, 1968. P. XII – XIII.
7. *Тарановски Т.* Указ. соч.
8. *Kiernan V.* The Lords of Human Rind. – Hormondsworth, 1972. P.102.
9. *Пржевальский Н.М.* От Кяхты на истоки Желтой реки. – СПб., 1888. С.275, 509.
10. *Семенов-Тянь-Шанский В.* О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерк политической географии. – Пг., 1915. С.16.
11. *Маккиндер Х. Дж.* Указ. соч. С. 168.
12. *Левандовский А.* //Родина. 1995.
13. Голландский исследователь Д. Схиммельпеннинк ван дер Ойе подробно исследует данную тему, описывая, как «интеллектуальный флирт с Востоком сопутствовал реальной восточной ориентации правительственной политики», и полагая «восточническое» направление в общественной мысли и государственной политике своеобразной инверсией панславизма на ином историко-культурном и геополитическом материале. (Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Повторить подвиги Кортеса? Российское «восточничество» на рубеже XIX–XX веков //Рубежи. 1998. №.2. С.41–43.)
14. «Русские правители в прошлом и настоящем руководствовались французской, если её так можно назвать, моделью колониального управления». (Pipes R. Reflections of the national problems in the Soviet Union. In: Glazer D., Moynihan D. (eds.) Ethnicity. – Camb., 1975. P.456.
15. *Ильин М.* Критерий современности в политике //Полис. 1995. №1. С.84.
16. *Маккиндер Х. Дж.* Указ. соч. С. 168-169.
17. *Данилевский Н.* Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. – СПб., 1871. С.476–477, 62–63.

18. Оглядываясь на два минувших столетия. Генерал Куропаткин писал в начале XX века: «Огромные жертвы, принесенные русским населением на внешние предприятия в XIX столетии были тем более тягостны, что приносились не только в видах укрепления русского государства. Но главным образом для устройства и укрепления других государств и народов... В XVIII и XIX столетиях в течение веденных Россией войн было выставлено до 10 мил. воинов. Из коих многие сотни тысяч или вовсе не возвратились домой, или вернулись инвалидами». (*Куропаткин А.Н.* Россия для русских. Задачи русской армии. – СПб., 1910. Т.3. С.27). О драматической избыточности людских ресурсов, употребленных Российской и Советской империями на осуществление своей внешнеполитической миссии убедительно пишет российский демограф и социолог Анатолий Вишневский в своей монографии «Серп или рубль» (М.: ОГИ, 1998, сс. 371-374). Цифровую фактуру данной проблемы см.: *Kennedy P.* The Rise and the fall of the great powers. Economic changes and military conflicts from 1500 to 2000. – London, 1988. P.154, 171.

19. *Струве П.Б.* Великая Россия. – Струве П.Б. *Patriotica*. Политика, культура, религия, социализм. – СПб., 1911. С.75.

20. «Вечная империя?» – Материалы круглого стола // Родина. 1996.

21. Неизбежность империи. Сб. ст. – М., 1996.

22. Свидетельства тому см. в: *Александров М.С.* Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России. – СПб., 1910; а также в: *Armstrong J.* Old Regim administrativ Elits // *International Review of Administrative Science*. 38. 1972.

23. *Robbins R.* The Tsar's Viceroys. Russian Provincial Governors in the last years of the Empire. – Cornell Univ. Press. 1987.

24. См., к примеру: *Блинов И.* Губернаторы. Историко-юридический очерк. – СПб., 1905; *Гессен В.* Вопросы местного управления. – СПб., 1904.

25. *Кара-Мурза А.А.* Между «империей» и «смутой» // *Полис*. 1995. №1. С.98.

26. *Данилевский Н.* Указ. соч.

27. *Хомяков Д.* Самодержавие (опыт схематического построения этого понятия). – М., 1903. С.8, 46.

28. *Тихомиров Л.А.* Монархическая государственность. – СПб., 1992. С.370–371, 398–401.

29. *Соловьев Ю.* Царство вечное. (Рец. на: *Regnum Aeternum*. – М., 1996) // *Волшебная гора*. №4. С.420.

30. *Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков) Оптинский*. Келейные записки. 1892–1896. – М., 1991. С.44.
31. Проблему соотношения консервативной идеологии и самодержавного приоритета в этом ракурсе удачно ставит М.Н. Лукьянов в своей статье «Русский консерватизм и самодержавие. В: Консерватизм и либерализм: созвучия и диссонансы. Материалы международной научной конференции. – Пермь, 1996. С.64–69.
32. Власть и реформы. От самодержавной к советской России. (Предисловие) – СПб., 1996. С.7.
33. *Гатагова Л.* Юдофобия: сумма зол //Рубежи. 1998. №2. С.108.
34. Там же. С.108, 109, 110.
35. Подробнее об этом см.: *Гагарин Г.Г.* Строителям русских церквей. – СПб., 1892.
36. Подробнее о консервативном смысле установок на контролируруемую модернизацию см.: *Филиппова Т.А.* «Мудрость без рефлексии». Консерватизм в политической жизни России //Кентавр. 1993. №6. С.49–60.)
37. *Франк С.* Критика нигилизма. – М., 1990. С.208–209.
38. *Пивоваров И.*
39. *Налимов В.В.* На изломе культуры. Ч.II. В поисках новых путей //Полис. 1992. №1–2. С.150.
40. *Hohenlohe-Schilingsfurst Chl.* Denkwurdigkeiten der Reichkautzlerzeit /Hrsg.: Muller K., 1931. S.156.
41. *Шмидт Т.З.* «Статс-секретарь социальной политики». Граф Артур Посадовский и социал-реформизм Германии на рубеже XIX–XX вв. В: Консерватизм и современность. – Пермь, 1998. С.100–103.
42. Цит. по: *Бюлов Б.* Державная Германия. – Пг.–М., 1915. С.109.
43. *Леонтьев К.* Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения //Избранное. – М., 1993. С. 139.
44. *Вишневский А.* Серп и рубль. С.24.
45. *Победоносцев К.П.* Народное просвещение. (Московский сборник). Цит. по: К.П. Победоносцев: pro et contra. Личность, общественно-политическая деятельность и мировоззрение Константина Победоносцева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. – СПб., 1996. С.126. В той же статье Победоносцев занятно рассуждает о том, что социальные льготы по бесплатному обучению крестьянства и по ограничению работы малолетних обязательным

школьным возрастом – не всегда во благо, и что ученье – не всегда свет, особенно если за его организацию берутся «доктринеры», а не радетели подлинной крестьянской пользы: «Кто готовится стать кандидатом или магистром, тому необходимо начинать учение в известный срок и проходить последовательно известный ряд наук; но масса детей готовится к труду ручному и ремесленному. Для такого труда необходимо приготовление физическое с раннего возраста. Закрывать путь к этому приготовлению, чтобы не потерять времени для школьных целей, значит – затруднять способы к жизни массе людей, бьющихся в жизни из-за насущного хлеба. И стеснять посреди семьи естественное развитие экономических сил её, составляющих в совокупности капитал общественного благосостояния» (С.124–125). Любопытный образец наивно и откровенно выраженной социальной сегрегации в целях семейного и общественного благосостояния!

46. *Прот. Г. Флоровский*. Пути русского богословия. Цит по: К.П. Победоносцев: Pro et contra. С.500, 501.